

Седьмая речь. Еще более глубокое постижение изначальности и немецкости народа

В прошлой речи мы указали – и доказали исторически – основные черты немцев, как изначального народа и такого народа, который имеет право называться просто народом, в противоположность другим, оторвавшимся от него племенам, – а ведь слово «немец» (Deutsch), в своем подлинном значении, как раз и означает только что сказанное. Целесообразно будет еще на час задержаться на этом предмете, и дать ответ на возможное возражение тех, кто скажет нам, что, если в этом заключается немецкое своеобразие, то нужно будет признать, что в настоящее время среди самих немцев осталось довольно мало немецкого. Поскольку же и мы отнюдь не могли бы отрицать этого явления, но намерены, скорее, признать его и обозреть его во всех его отдельных частях, мы начнем сегодня с того, что объясним его.

Отношение изначального народа нового мира к продолжающемуся образованию этого мира было, в целом, таково, что неполные и остающиеся на поверхности вещей усилия заграницы побуждали этот народ к более глубоким созданиям, которые он должен был развить из своей собственной среды. Поскольку от побуждения до творения, несомненно, проходит известное время, то ясно, что от такого отношения возникнут периоды времени, в которые изначальный народ почти совершенно сливается с заграницей и должен представляться подобным ей, именно потому, что он пребывает в состоянии простой побужденности, а предполагаемое в побуждении новое творчество еще не проявилось в мире. В таком-то периоде времени находится именно сейчас Германия, в огромном большинстве своих образованных жителей, и от этого происходят явления иностранщины, пронизывающие все внутреннее существо, всю жизнь этого большинства. Философия, как свободное мышление, избавившееся от всяких оков веры в чужой авторитет, – вот чем, как мы видели в прошлой речи, заграница побуждает ныне свою родину. Там же, где от этого побуждения не произошло нового творения, которое, поскольку для огромного большинства это побуждение осталось незамеченным, происходит у крайне немногих людей: там отчасти эта, уже описанная нами прежде, заграничная философия принимает все новые и новые формы, отчасти дух ее овладевает и другими, прежде всего граничащими с философией, науками, и рассматривает эти науки со своей точки зрения; и наконец, поскольку ведь немец никогда не может оставить своей серьезности и своего стремления непосредственно

вмешиваться в жизнь, эта философия оказывает влияние на образ жизни общества и на общественные принципы и правила. Докажем это по порядку.

Во-первых, и прежде всего: человек образует себе то или иное научное воззрение не свободно и не по произволу, – его жизнь образует в нем это воззрение, и оно есть, собственно говоря, сам превратившийся в созерцание внутренних и ему впрочем неизвестный корень его жизни. То, что ты есть поистине в твоём внутреннем существе, всегда явно предстанет твоему внешнему глазу, и ты никогда не сможешь видеть что-либо иное. Если бы ты видел иначе, тебе пришлось бы сначала стать иным. Внутреннее же существо заграницы или неизначальности составляет вера в нечто последнее, прочное, неизменно наличное, в границу, по эту сторону которой хотя и играет свободная жизнь, но которую саму перейти, растворить ее собою и слиться с нею эта жизнь никогда не сможет. А потому эта непроницаемая граница когда-нибудь непременно предстает ее глазам, и она может мыслить или верить не иначе, как предполагая подобную границу. Допустить иное значило бы совершенно преобразить все внутреннее ее существо и вырвать сердце из груди ее. Она необходимо верит в смерть, как первоначальное и последнее, как основной исток всех вещей, а с ними – и жизни.

Здесь нам следует прежде всего указать, как выражается в наше время среди немцев эта заграничная вера.

Она выражается, во-первых, в собственно так называемой философии. Нынешняя немецкая философия, насколько таковая заслуживает здесь упоминания, желает основательности и научной формы, несмотря на то что не способна достичь ни того, ни другого, она желает единства, – и в этом ей тоже послужила предшественницей заграница, – она желает познания реальности и сущности – не простого явления, но являющейся в явлении основы этого явления, и во всех этих желаниях она права и далеко превосходит господствующие философские системы нынешней внешней заграницы, будучи в подражании заграничному намного основательнее и последовательнее этой заграницы. Эта основа, которую нужно усматривать за всеми явлениями, есть для этих философов (даже если они дают ей еще менее удачные дальнейшие определения) всегда некое прочное бытие, которое есть то, что оно именно есть, и ничто более, сковано в себе самом и привязано к своей собственной сущности; и так смерть и удаление от изначальности, которые в них самих, явно предстают их глазам. Поскольку сами они неспособны возвыситься до жизни вообще, жизни из себя самой, но всегда нуждаются для свободного полета в некотором носителе и опоре, поэтому и в своем мышлении, как отображении их жизни, они не могут выйти за предел этого носителя: что не есть нечто, то для них есть с необходимостью ничто, потому что между этим вросшим в себя бытием и ничто их глаз ничего более не видит, потому что в их жизни там ничего более не имеется. Их чувство, на которое только они и могут ссылаться, кажется им безошибочным: и если кто-нибудь не признает такого носителя, то они не только не умеют допустить, что он довольствуется одной только жизнью, но полагают, что он просто недостаточно остроумен, чтобы заметить носителя, который, без сомнения, носит и его самого, и что он лишен способности воспарить до их собственных высоких воззрений. Поучать их поэтому напрасно и невозможно; их нужно бы было сделать, и сделать иными, если бы мы только могли. В этой своей части нынешняя немецкая философия – не немецкая, но подражание загранице.

Истинная же философия, дошедшая в самой себе до конца и поистине проникшая за грань явления к его внутреннему ядру, исходит из единой, чистой, божественной жизни, – как жизни вообще, которой она и остается вовеки, и в том всегда остается единой, – а вовсе не из той или иной жизни. Она видит, что эта жизнь только в явлении снова и снова бесконечно замыкается в себе и опять открывается, и только вследствие этого закона возникает вообще некоторое бытие и некоторое нечто. Для нее возникает то бытие, которое философия первого рода принимает как заранее данное. А потому только эта философия есть в подлинном смысле немецкая, т. е. изначальная философия; и напротив: если бы кто-нибудь стал настоящим немцем, он не мог бы философствовать иначе как именно таким образом.

Эта система мысли, хотя и господствующая у большинства философствующих по-немецки, однако не являющаяся собственно немецкой, вторгается, – все равно, утверждают ли ее сознательно как собственно философскую систему, или она только неосознанно лежит в основании всего прочего нашего мышления, – она вторгается, говорю я, во все прочие научные воззрения нашего времени; и в самом деле, основное стремление нашего, вдохновляемого границей, времени в том именно и состоит, чтобы уже не просто охватывать научный материал в памяти, как делали наши предки, но обрабатывать его самостоятельной и философствующей мыслью. Что касается самого этого стремления, в нем наше время право; но если, как и следует ожидать, приступая к этому философствованию, оно станет исходить из мертвоверной заграничной философии, оно будет неправо. Мы здесь бросим взгляд только на те науки, которые ближе всего находятся к совокупному нашему замыслу, чтобы отыскать распространенные в них иностранные понятия и воззрения.

В убеждении, которое рассматривает учреждение государств и правление государствами как свободное искусство, имеющее твердые правила, – в этом убеждении, без сомнения, граница – сама последовавшая образцам древности, – послужила нам предшественницей. В чем же подобная граница, которой уже в самой стихии ее мысли и воли – в ее языке – дан прочный, законченный и мертвый носитель, и в чем все, кто ей в этом последует, будут усматривать это государственное искусство? Несомненно, в искусстве находить столь же прочный и мертвый порядок вещей, из которой смерти долженствует теперь возникнуть живое движение общества, и возникнуть таким, каким его задумало это искусство; в искусстве сопрягать все живое в обществе в большой и искусственный механизм как бы печатного станка, в котором каждый индивид постоянно воздействием целого понуждается служить этому целому; в искусстве решать арифметическую задачу сложения конечных и определенных величин в реальную сумму, предполагая, что каждый желает своего блага, и с целью, именно благодаря этому, заставить каждого против его воли и стремления содействовать общему благу. Граница во множестве форм выражала это воззрение, и представила нам шедевры этой общественной механики; наша родина восприняла это учение и подвергла дальнейшей обработке применение этого учения к созданию общественных машин, будучи и в этом, как всегда, обстоятельнее, глубже, истиннее, и далеко превосходя свои образцы. Если прежний ход общественных дел застопорится, то эти знатоки государственного искусства не умеют объяснить себе этого иначе как тем, что, вероятно, в механизме износилось одно из колес, и для спасения дела не знают иного средства, кроме того, чтобы вынуть из машины поврежденные колеса и заменить их новыми. Чем более закоренеет человек в этом механическом воззрении на общество, тем большую он обнаруживает сноровку в упрощении этого механизма, стараясь сделать все

части машины возможно более равными друг другу, и трактуя все части как однородный материал, – тем большим знатоком государственного искусства он слывет, и слывет, в наше время, по праву; ибо от колеблющихся в нерешительности, и неспособных усвоить себе никакое твердое воззрение, вреда бывает еще того более.

Это воззрение на государственное искусство, своей стальной последовательностью и присущим ему возвышенным видом, вызывает к себе уважение; и до известной точки, особенно там, где все жаждет монархического и все более чистого монархического устройства, оно может сослужить хорошую услугу. Но как только мы достигнем этой точки, нам станет очевидно бессилие этого воззрения. В самом деле, допустим, что вы вполне придали вашей машине задуманное вами совершенство, и что всякое нижнее звено в ней непременно и неодолимо принуждается к действию высшим, принужденным к принуждению, звеном, и так далее до самой вершины. Что же принуждает последнее звено вашей машины, от которого исходит все имеющееся в этой машине принуждение, к этому самому принуждению? Вам поневоле придется устранить всякое сопротивление, которое могло бы возникнуть из трения веществ об эту последнюю пружину механизма, и придать ей такую силу, против которой всякая иная сила будет ничтожно мала, а только этого вы и можете добиться вашим механизмом, и вам придется, стало быть, создать самое могущественное из монархических устройств; но чем же вы станете приводить в движение саму эту пружину общества и принуждать ее всегда и без исключения видеть и желать только правду? Как же внесете вы в ваш, пусть верно рассчитанный и плотно сложенный, но неподвижный механизм вечно движущееся начало жизни? Не сама ли эта машина в целом, как вы порой в смущении говорите, окажет обратное воздействие и побудит тем к жизни первую пружину? Это может совершиться или такой силой, которая сама происходит из исходящего от пружины побуждения, или же такой силой, которая не происходит из этого побуждения, но имеется в самом целом независимо от пружины; третьего не может быть. Если вы предположите первое, то окажетесь в логическом кругу, уничтожающем всякое мышление и всякий механизм: машина в целом может принудить пружину лишь постольку, поскольку сама пружина принуждает ее принуждать себя, а значит, поскольку пружина эта, хотя и косвенно, принуждает сама себя; если же она не принуждает сама себя, – а именно этот недостаток вы и желали исправить, то не произойдет вообще никакого движения. Если же вы допустите второе, то признаете, что начало всякого движения в вашей машине исходит от силы, совершенно не входившей в ваш расчет и устройство и никоим образом не связанной механизмом, которая, без сомнения, действует, как умеет, без всякого вашего содействия, по своим собственным, неизвестным вам законам. В любом из этих случаев вам придется признать собственное свое искусство лишь дилетантством и бессильным хвастовством.

Это и в самом деле чувствовали, и хотели, в этой системе, которая, полагаясь на свое механическое принуждение, может не опасаться всех прочих граждан, воспитать по крайней мере князя, от которого исходит всякое общественное движение, посредством всевозможных добрых наставлений и поучений. Но как же мы можем удостовериться, что нам попадется характер, вообще способный усвоить уроки княжеского воспитания? Или, если даже мы будем настолько счастливы, что этот воспитанник, заставить которого никто не вправе, будет склонен и столь любезен, по собственной воле подчиниться дисциплине воспитателя?

Подобное воззрение на государственное искусство, находим ли мы его на иностранной или на немецкой почве, всегда есть иностранщина. Здесь следует однако заметить, к чести немецкой души и немецкой крови, что какими бы хорошими мастерами мы ни были в науке этого расчета принуждений, однако, если дело доходило до приложения к жизни, смутное чувство, что так не должно быть, очень и очень сдерживало наше старание, и по этой части мы отстали от заграницы. Если даже мы окажемся принуждены принять, как приготовленное для нас благодеяние, чуждые формы и законы, то нам, по крайней мере, не следует при этом сверх меры стыдиться, как будто наш острый ум неспособен одолеть и эти высоты законодательства. Поскольку же мы и в этом не отстанем ни от какой иной нации, если только сами станем направлять это дело, то пусть всю жизнь наше чувство говорит нам, что и это еще не есть наша настоящая правда, и потому пусть лучше мы пожелаем оставить в неизменности прежнее, пока не явится к нам совершенное, вместо того чтобы просто-напросто сменить прежнюю моду на новую, столь же преходящую.

Иное дело – подлинно немецкое государственное искусство. Оно тоже желает добиться прочности, надежности и независимости от слепой и непостоянной природы, и в этом совершенно согласно с заграницей. Только оно не желает создать, подобно первой, прочную и заведомо известную вещь, как первое звено, которое только и удостоверяет для нас будто бы дух, как второе звено, но с самого же начала, и как первейшее и единственное звено, оно желает полагать этот прочный и достоверный дух. Этот дух есть для него вечно движущаяся и из себя самой живая пружина, которая ныне и вовек упорядочивает и приводит в движение жизнь общества. Оно понимает, что создать этот дух могут не обвинительные тирады к уже потерянным для него и опустившимся взрослым, но только воспитание еще неиспорченного юношества; причем с этим воспитанием оно желает обратиться не к крутой вершине общества – князю, как то делает заграница, оно обращается с ним к обширной плоскости общества, ко всей нации, ибо ведь совокупность нации включает в себя, без сомнения, также и князя. Так же, как государство есть, в своих взрослых гражданах, продолжение воспитания человеческого рода, так же, полагает это государственное искусство, воспитание должно сделать самих будущих граждан восприимчивыми к этому высшему воспитанию. Тем самым это немецкое и новейшее государственное искусство становится, в свою очередь, наидревнейшим; ибо и государственное искусство греков желало основать гражданское достоинство на воспитании, и образовывало граждан, каких уже не видали следующие эпохи человечества. По форме то же самое, по содержанию же – не в мелочном и исключительном, но в общем и космополитическом духе, будет делать отныне и немец. Тот же самый дух заграницы господствует у огромного большинства наших соотечественников также и в их воззрении на совокупную жизнь человеческого рода и на историю как образ этой жизни. Нация, у которой основа ее языка мертва и законченна, может, как мы показали это в одной из прошлых речей, достичь во всех словесных искусствах только известной ступени совершенства образования, которую допускает для нее эта основа; и достигнув этой ступени, она переживет свой золотой век. Такая нация, если не свойственна ей величайшая скромность и самоотверженность, едва ли могла бы допустить более возвышенную мысль и обо всем человеческом роде, чем какой она знает сама себя; поэтому она необходимо должна предположить, что и для образования рода человеческого явится впоследствии некая последняя, высшая и непревосходимая цель. Так же, как животное племя бобров или пчел и сегодня строит свои дома так же точно, как строило тысячелетия назад, и за это долгое

время нимало не продвинулось вперед в строительном искусстве, так же точно, по ее мнению, будет обстоит дело и с животным племенем по имени «человек», во всех отраслях его образования. Эти отрасли, влечения и способности можно будет исчерпывающим образом охватить мыслью, и даже, может быть, в одном-двух членах даже представить взгляду с полной наглядностью, и можно будет, как предполагают, указать для каждой из отраслей и способностей высшую ступень развития. Быть может, человеческому роду это удастся даже намного хуже, чем племени бобров или пчел, оттого что последнее, хотя и не научается ничему новому, однако искусство его и не убывает, человека же, если даже достигнет однажды вершины, посторонняя сила вновь отбрасывает назад, и тогда он может веками или тысячелетиями пытаться вернуться вновь в ту точку, где лучше было бы оставить его с самого же начала. И подобных точек зенита в своем образовании, подобного золотого века человеческий род, по мнению этих людей, без сомнения, уже достигал; отыскать эти точки в его истории, и оценить по мерке их все усилия человечества и возратить человечество к этим точкам зенита – таково будет их самое усердное желание. История, по их мнению, давно уже готова и закончена, и бывала закончена уже неоднократно; по их мнению, нет ничего нового под солнцем, ибо они истребили, и под солнцем, и над солнцем, источник вечной жизни, и допускают только повторение и многократное полагание вечно возвращающейся смерти.

Известно, что эта философия истории перешла к нам из заграницы, хотя в настоящее время и за границей слава ее совершенно угасла, и она превратилась в почти исключительное достояние немцев. А из этого глубокого сродства ее с заграницей следует также, что эта наша философия истории может столь всецело понимать устремления заграницы (которая, даже если не высказывает уже столь часто, как прежде, это воззрение на историю, делает еще более того, ибо действует согласно ему и вновь готовит наступление золотого века) и даже пророчески предуказывать им дальнейший путь, и взирать на них со столь искренним восхищением, каким не может похвалиться человек, мыслящий по-немецки. Да и как же он мог бы восхищаться ими? Золотой век, в каком бы то ни было отношении, есть для него признак ограниченности и мертвенности. Пусть золото, думает он, самое благородное, что скрывается в недрах умершей земли, но вещество живого духа пребывает выше солнца, выше всех солнц, и именно в нем их источник. История, а с ней и человеческий род, развивается для него не по таинственному и чудесному закону круговорота, он полагает, что настоящий и справедливый человек делает ее сам, не просто повторяя нечто уже бывшее прежде, но творя во времени нечто совершенно новое. Поэтому он никогда не ожидает простого повторения, а если оно все же случится, слово в слово так, как написано в древней книге, он, по крайней мере, не испытывает восхищения.

Подобным же образом мертвящий дух заграницы неосознанно для нас самих распространяется на все прочие наши научные воззрения, о которых здесь будет, вероятно, достаточно напомнить приведенные мною выше примеры; причем это происходит так потому, что мы именно теперь перерабатываем на свой лад побуждения, которые получили прежде от заграницы, и проходим подобное промежуточное состояние. Я привел эти примеры, потому что этого требовало существо дела; между прочим, также и для того, чтобы никто не думал, будто может оспаривать мои утверждения, делая умозаключения из указанных мною принципов. Эти принципы не только не остались нам неизвестны, и мы не только способны возвыситься умом до высоты этих принципов, но мы довольно неплохо их

знаем и, будь у нас только в избытке времени, мы могли бы, может быть, развить во всей последовательности и предпосылки, и следствия из этих принципов; но мы только с самого же начала отбрасываем их прочь, а с ними и все, что из них следует, а этого в нашем традиционном способе мышления гораздо больше, чем могло бы показаться на поверхностный взгляд.

И как на наши научные воззрения, так же точно дух заграницы влияет и на нашу обыденную жизнь и ее правила; но чтобы это стало Вам ясно, а предшествующее – еще яснее, необходимо сперва обратить более пристальный взгляд на сущность изначальной жизни, или свободы.

Свобода, понимаемая в смысле нерешительного колебания между несколькими равными возможностями, не есть жизнь, но лишь преддверие и подступ к действительной жизни. Из этого колебания нужно ведь однажды перейти к решению и действию, и только тогда начинается собственно жизнь.

Между тем непосредственно и на первый взгляд каждое волевое решение кажется нам первым, а отнюдь не вторым и не следствием из этого первого, как основания, кажется существующим абсолютно из самого себя и существующим так, как оно существует; именно это, единственно возможное разумное значение слова свобода мы хотели бы здесь утвердить. Но, что касается содержания подобного волевого решения, возможны два случая: а именно, либо в нем является только явление, отдельно от сущности, и сущность никоим образом не вступает в это его явление, – или же сама сущность вступает, являясь, в это явление волевого решения; причем здесь сразу же следует заметить, что сущность может стать явлением только в волевом решении, и решительно ни в чем ином, хотя, напротив, возможны такие волевые решения, в которых проступает отнюдь не сущность, но одно лишь явление. Мы обратимся вначале к первому случаю. Когда мы отделяем чистое явление, просто как таковое, от сущности, и противопоставляем его сущности, то этим самым, а также тем, что явление само также способно являться и представлять себя, это явление необратимо определено, и потому оно необходимо именно таково, каково оно есть и каким оказывается. Если поэтому, как мы здесь предполагаем, какое-нибудь волевое решение есть в своем содержании только явление, то оно постольку в самом деле не свободно, не есть первое и изначальное решение, но необходимо и есть второе звено, возникающее таким, каково оно есть, из более высокого первого звена – закона явления вообще. Поскольку же, как мы уже неоднократно напоминали Вам также и в этих речах, мышление человека представляет его самому себе таким, каков он и есть действительно, и всегда остается верным впечатком и зеркалом его души: то подобное волевое решение, хотя на первый взгляд, коль скоро уж это волевое решение, оно представляется нам свободным, не может, однако, представляться таким повторному и более глубокому мышлению, но должно мыслиться в этом последнем как необходимое, каково оно ведь и есть действительно и в самом деле. Для таких людей, воля которых еще не возвысилась в более высокую сферу, нежели та, в которой представляется, что воля в них всего лишь является, вера в свободу воли есть, разумеется, иллюзия и обман непостоянного и задерживающегося на поверхности вещей созерцания. Истина для них заключается только в мышлении, которое обнаруживает перед ними повсюду лишь оковы строгой необходимости.

Первый основной закон явления, абсолютно как такового (основу этого закона мы здесь указывать не станем, тем более, что достаточно обстоятельно указали ее в другом месте), состоит в том, что явление распадается на многообразное, которое в известном отношении есть бесконечное, а в известном другом отношении – замкнутое целое, и в этом замкнутом целом многообразного каждое отдельное звено определено всеми прочими, и в свою очередь все прочие звенья определены этим одним звеном²⁷. Если поэтому в волевом решении индивида в явление пробивается только одна являемость, представимость и зримость вообще, которая не есть в самом деле зримость некоторого нечего, – то содержание подобного волевого решения определено замкнутым целым всех возможных волевых решений этой воли и всех возможных прочих отдельных волей, и оно не содержит, и не может содержать в себе ничего более, кроме того, что нам остается желать, после того как мы отвлечемся от всех этих возможных волевых решений. А потому оно в самом деле не есть нечего самостоятельное, изначальное и собственное, но есть лишь простое следствие, как второе звено, общей взаимосвязи совокупного явления в отдельных его частях. А именно этим таким его всегда и признавали все, кто, находясь на этой ступени образования, при этом, однако, способны были основательно мыслить, и высказывали это свое знание в тех же самых словах, которыми и мы только что воспользовались. Но все это так потому лишь, что в них самих в явление вступает не сущность, но одно только явление.

Там же, где сама сущность, непосредственно и как бы собственной персоной, а отнюдь не через заместителя, вступает в явление волевого решения, там хотя и имеется так же точно все вышеупомянутое, следующее из смысла явления как замкнутого целого, ибо ведь явление является и здесь; но подобное явление не исчезает в этом элементе и не исчерпывается им, но в нем мы находим еще и нечего большее, другой элемент, необъяснимый из этой взаимосвязи явления, но остающийся после вычета всего объяснимого. Первый элемент имеется и здесь, сказал я только что; а это большее становится зримым, и через эту зримость, а отнюдь не посредством внутренней своей сущности, оно подпадает закону и условиям усмотримости вообще. Но оно есть еще и нечего большее, нежели это следствие из какого бы то ни было закона, которое есть поэтому необходимое и второе, и благодаря этому большему оно есть само по себе то, что оно есть, нечего подлинно первое, изначальное и свободное, а поскольку оно таково, оно также и представляется именно таким глубочайшему и дошедшему в самом себе до конца мышлению. Высший закон усмотримости состоит, как мы сказали, в том, что являющееся дробится на бесконечное многообразное. Это большее становится зримым, и всякий раз как нечего большее, чем то, что следует здесь и именно теперь из взаимосвязи явления, и так далее до бесконечности; и таким образом само это большее является как бесконечное. Между тем ведь ясно, как солнце: эту бесконечность оно получает лишь благодаря тому, что бывает всякий раз зримым и мыслимым и обнаружимым нечего, – единственно лишь благодаря тому, что оно противоположно тому, что бесконечно следует из взаимосвязи явления, и благодаря тому, что оно есть нечего большее, нежели это последнее. Но ведь, безотносительно этой потребности мыслить его, это большее, чем все то бесконечное, что в бесконечность только может представиться в явлении, с самого начала существует в чистой простоте и неизменности, и во всю бесконечность будет не большим, чем только это «большее», не будет и меньшим; и лишь усмотримость его как большего, нежели бесконечное (а иным образом оно, в своей высшей чистоте, не может стать зримым для нас), создает само бесконечное и все то, что кажется нам являющимся в этом бесконечном. Там

же. где это большее действительно выступает как подобное зримое большее, – а выступать таким образом оно может только в воле, – там сама сущность, которая одна только есть и одна только может быть, и которая существует сама собою и через себя самое, – божественная сущность, – вступает в явление и делает сама себя непосредственно зримой; и именно поэтому там есть подлинная изначальность и свобода, и в такую только свободу люди и могут верить.

А значит, на общий вопрос о том, свободен ли человек, или не свободен, нет общего ответа; ибо именно потому, что человек свободен в низшем смысле слова, что он начинает с нерешительного колебания и шатания, он может быть свободен или же несвободен в высшем смысле слова. В действительности то, как тот или иной человек отвечает на этот вопрос, служит нам ясным зеркалом его подлинного внутреннего бытия. Кто в самом деле есть не более чем звено в цепи явлений, тот может, правда, на мгновение возомнить себя свободным, но эта иллюзия не устоит перед его более строгим мышлением; но каким он находит себя самого, таким же он необходимо представляет себе и весь род себе подобных. Но тот, чья жизнь охвачена подлинным и стала жизнью непосредственно из Бога, – тот свободен, и верит в свободу в себе и других.

Тот, кто верит в прочное, устойчивое и мертвое бытие, верит в него потому лишь, что он сам в себе мертв; и будучи мертв, он, как только достигнет полной ясности в самом себе, может верить только таким именно образом. Он сам, и весь род ему подобных, с самого начала и до конца, представляется ему неким вторым звеном и необходимым следствием из какого-нибудь предполагаемого им первого звена. Это предположение есть его действительное, а не только мыслимое мышление, его подлинный ум, та точка, где его мышление само непосредственно есть жизнь, и оно поэтому есть источник всего прочего его мышления, всех его оценок рода людского, в его прошлом, – в его истории, – в его будущем. – в том, что он от человеческого рода ожидает, – и в его настоящем, – в действительной жизни его самого и других.

Это мертвоверие, в его противоположности изначально живому народу, мы называли иностранщиной. Эта иностранщина, стало быть, если уж она появилась среди немцев, должна будет обнаружиться и в их действительной жизни: как спокойная преданность необходимости своего бытия, которой отменить мы не можем, как отказ от всякого свободного усовершенствования и нас самих, и других людей, как склонность принимать себя самого и всех других людей такими, каковы они есть, и извлекать из их бытия наибольшую возможную выгоду для себя; короче говоря, как непрестанно отражающееся во всех жизненных движениях человека исповедание его веры во всеобщую и равномерную греховность всех людей, которую я достаточно подробно представил в другом месте²⁸. Предоставляю Вам самим перечитать это мое описание, а также оценить, насколько верно оно для настоящего времени. Этот образ мысли и действий возникает у духовно мертвых, как мы не раз уже напоминали, только оттого, что эта омертвелость достигает полной ясности в самой себе, между тем как, пока она пребывает во тьме, она сохраняет и веру в свободу, – веру, которая сама по себе истинна, и иллюзорна лишь применительно к ее нынешнему бытию. Отсюда с очевидностью следует, сколь невыгодна внутренняя ясность для дурной души. Пока дурной человек остается во тьме, непрестанный призыв к свободе всегда беспокоит, прищипывает и подгоняет его, и доставляет точку опоры для попыток

его исправить. Ясность же делает дурное вполне дурным, и придает ему законченность в самом себе; она доставляет ему радостную преданность, спокойствие чистой совести и самодовольство. С этими людьми происходит тогда по вере их. они становятся отныне поистине неисправимыми, и годятся, самое большее, лишь на то, чтобы поддерживать в тех, кто лучше их душой, живое отвращение от дурного и преданность воле Божией, а больше не годны ни на что на свете.

И вот теперь пусть выяснится с совершенной ясностью, что мы понимали в изложенном нами прежде под «немцами». Подлинное основание различия заключается в том. верит ли некто в абсолютно первое и изначальное в человеке, в свободу, в возможность бесконечного исправления, в вечный прогресс нашего рода, или же он не верит во все это и даже мнит, будто отчетливо познает и постигает, что на самом деле истинно противоположное. Все, кто или сами живут творчески и в созидании нового, или кто, если это творчество не досталось им на долю, по крайней мере решительно отвергают все ничтожное и стоят, зорко всматриваясь, не прольется ли откуда-нибудь, захватывая их. поток изначальной жизни, или те, которые, если даже они и не готовы к этому, по крайней мере предчувствуют свободу, не ненавидят ее и не боятся, но любят ее – все они – изначальные люди, и если рассматривать их как один народ, они образуют изначальный народ, народ вообще, они суть немцы. Все, кто предается своей участи быть вторым звеном и чем-то производным, и кто отчетливо знает и постигает себя как второе и производное, в самом деле таковы и есть, и будут в этой своей вере все более и более таковы, они – придаток к той жизни, что жила прежде них, или рядом с ними, по собственному влечению, они – эхо уже умолкнувшего голоса, доносящееся к нам от мертвой скалы. Они, как народ, пребывают вне изначального народа, и являются для него чужеземцами и иностранцами. В той нации, которая до сегодняшнего дня называет себя народом вообще или «немцами», в новое время, по крайней мере доныне, показывалось на свет Божий изначальное, и обнаруживалась сила творчества нового. Теперь, наконец, философия, достигнув ясности в самой себе, предлагает этой нации как бы зеркало, в котором нация может постигнуть ясным понятием, чем она стала до сих пор по закону своей природы, сама отчетливо не сознавая того, и к чему она предназначена самой природой; и предлагает нации, согласно этому ясному понятию и обдуманному и свободным искусством сделать саму себя вполне и совершенно тем, чем она должна быть, обновить завет, и замкнуть свой круг. Принцип, соответственно которому она должна замкнуть этот круг, ей уже представлен: Все, кто верит в духовное и в свободу этого духовного, и кто желает вечного образования этого духовного деянием свободы, – где бы ни родились они и на каком бы языке ни говорили, – все они нашего рода, они близки нам и соединятся с нами. Все, кто верит в неподвижность, упадок и круговорот, или же ставит у кормила мироправления мертвую природу, – где бы ни родились они и на каком бы языке ни говорили, – все они не немцы и чужие нам, и нужно желать, чтобы они, сколь возможно скорее, совершенно от нас отделились.

А при этом случае на основе всего сказанного нами выше о свободе пусть выяснится также вполне внятно для всех, и имеющий уши слышать да слышит, чего, собственно, хочет та философия, которая с полным основанием называет себя немецкой, и в чем она с серьезной и неумолимой строгостью противопоставляет себя всякой иностранной и мертвоверующей философии. Причем пусть это выяснится отнюдь не затем, чтобы и мертвое тоже поняло эту философию – что невозможно, – но затем, чтобы мертвому стало труднее исказить смысл ее

слов и делать вид, будто и оно само желает того же и в сущности имеет в виду как раз то же самое, что и эта философия. Эта немецкая философия действительно и самым делом своего мышления возвышается, а отнюдь не хвалится только по смутному предчувствию, что так нужно делать, не будучи однако в состоянии исполнить этого сама, – она возвышается к неизменному «больше всякой бесконечности», и в нем одном находит подлинное бытие. Время и вечность и бесконечность она усматривает в их возникновении из явления и зримовления (*Sichtbarwerden*) этого единого, которое в себе абсолютно незримо, и постигается правильно лишь тогда, когда его постигнут в этой незримости. Даже и бесконечность, согласно этой философии, есть сама по себе ничто, и ей не присуще решительно никакое подлинное бытие. Она есть лишь средство, благодаря которому становится зримым то единственное, что существует, и что есть только в своей незримости, и из которого для него в сфере образного (*im Umkreise der Bildlichkeit*) выстраивается образ, схема и тень его самого. Все, что еще может стать зримым в пределах этой бесконечности мира образов, есть уже совершенное ничто от ничто, тень от тени, и есть единственно лишь средство, благодаря которому становится зримой само первое ничтожество бесконечности и времени, и для мысли открывается путь воспарения к необразному и незримому бытию.

В пределах же этого, единственно возможного, образа бесконечности незримое непосредственно выступает лишь как свободная и изначальная жизнь видения, или как волевое решение разумного существа; и не может выступать и являться решительно никаким иным способом. Всякое устойчивое бытие, являющееся как недуховная жизнь, есть лишь отбрасываемая видением и многолико опосредованная в ничто пустая тень, в противоположность которой и через познание которой, как многолико опосредованного ничто, само видение как раз и должно возвыситься до познания собственного своего ничтожества и до признания незримого, как единственно истинного.

В плену этой тени от тени теней именно и остается та мертвоверующая философия бытия, которая становится даже просто философией природы²⁹, самая омертвелая из всех философских систем, и страшится собственного своего создания, и поклоняется ему. А это ее упорство служит выражением ее истинной жизни и любви, и в этом пункте мы можем поверить этой философии. Но если она говорит нам, далее, что это бытие, которое она предполагает как действительно существующее, и абсолютное есть одно и то же, то в этом, сколько бы она ни уверяла нас в том, и если бы даже она поклялась нам в том и присягнула, мы ей верить не должны; этого она не знает, но говорит только так, наудачу, бездумно повторяя это слово в слово за другой философией³⁰, у которой не осмеливается этого оспаривать. Если бы она это знала, то должна была бы исходить не из двоицы, которую она лишь уничтожает и тем не менее сохраняет этим своим заклинанием, как из некоторого несомненного факта, – но она должна была бы исходить из единицы, и должна суметь понятным и очевидным образом вывести из этой единицы двоицу, а с ней и всякое многообразие. Но для этого нужно мышление, нужна действительно осуществленная и до конца проведенная сама в себе рефлексия. Искусству этого мышления она отчасти не училась и к нему вообще неспособна, – она может только грезить, – отчасти же она этому мышлению враждебна, и вовсе не желает даже и пытаться осуществить его сама, ибо это потревожит ее в ее любезной иллюзии. Именно в этом наша философия с полной серьезностью противопоставляет себя этой философии, и это мы хотели со всей возможной внятностью высказать и засвидетельствовать при этом случае.

Версия #1

Зверобой создал 13 апреля 2025 13:22:09

Зверобой обновил 13 апреля 2025 13:22:36